

ЧЕЛОВЕК ИЗ СОБСТВЕННОЙ ПЬЕСЫ

важнейшее для драматурга умение организовать пространство для выразительности тех непосредственных реакций, ради которых, в сущности, и пишутся женские роли в пьесах.

В своих «Записках» Леонид Зорин говорит о ТЕАТРЕ, как Мужчине о Женщине, хорошо, вероятно, помняту блоковский: «Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой».

В своем театральном романе драматург не столько вспоминает о гонениях властей, сколько задумывается о вечных темах, не отдавая их на откуп лишь сценическим подтекстам. Вечные темы занимают его и в чаду самой театральной кухни, и в пудренной пыли кулис.

С достоинством говорит Зорин о КОВАРСТВЕ, как неотъемлемой стороне ЛЮБВИ. О невозможности долго любви к одному и тому же. О грубой прагматичности объявленной любви, которой мы, к несчастью, чаще бываем обязаны удачам. О том, словом, что ЛЮБОВЬ СТОИТ ИЗ СТРАННОСТЕЙ точно так же, как ПЬЕСА ИЗ АВТОРА.

Заметке, забывая назвать в своей заметке юбилейную цифру. Но представил себе глаза Костика на предвесе «Коронации» — и утешил себя тем, что мы, в конце концов, гуманисты. За нас считают. Хорошо бы про налоги не напоминать.

Александр НИЛИН.

Леонид ЗОРИН

НАЧАЛО В МОСКВЕ

(Из книги «Авансцена. Записки драматурга»)

Эмблема зоринского характера возникает теперь едва ли реже, чем мосфильмовская — «Покровские ворота» крутят в эфире почти круглосуточно.

Но поскольку я сейчас чествую Зорина, а не Козанова (недавнего и весьма симпатичного мне юбиляра), признаюсь, что фильм мне несравнимо меньше нравится, чем пьеса.

Тем не менее, при полном повторении козюковских «Покровских ворот» на телеэкране я обязательно на зрительское количество минут все равно включу — и жду непреклонного момента, мгновения, когда в глазах создателя экстравагантно-самоироничной ретро-эмблемы зоринского характера Олега Меньшикова колыхнется зрачка, словно осенний лист прозвонит, прокиннувшись в УПРЕЖДАЮЩУЮ, сказал бы, НОСТАЛЬГИЮ.

Не совсем точно помню произнесенную Леонидом Генриховичем фразу, смысл которой я, однако, запомнил: «Мне немощных трудов стоило превратить себя из эмоционально неадекватно-романтического бэбика в того человека, каким, наконец, стал».

После «Покровских ворот» я уже легче смог вообразить путь, предельный от Костика до того джентльмена с «Аэропорта», воплощающего любовь и доброжелательство, но и в самой доверительной словоохотливой беседе не помещающего тебе услышать «звон недремлющего брегета». Он же призывает писателя Зорина к любви, а потому и основному занятию — работе за письменным столом. Зорин как раз из тех литераторов, что упрек в графоманстве спокойно предпочтут эфемерному сходству с Ираклием Андрониковым.

И, эскизно нарисовав великое множество своих пьес, а оригинальный сценарий его «Гроссмейстер» замечательным пунктом, прилюдно, он изорвал бюллетень с портретом весьма высокого кандидата.

Наиболее симпатичный поступок из всех когда-либо им совершенных! Но именно он и был заклеймен. Суров был исключен из Союза писателей. Неоднократно он делал попытки восстановиться, вернуть утраченное, но видно на нем поставили крест. Ипользовать его было трудно, чтоб не сказать — компрометантно, а бескорыстно помочь упавшему было не в правилах Матери — Партии.

Долго он в это не мог поверить, долго не смог смириться с реальностью, стал неожиданно патетичен, писал драматические письма («И двадцатилетний срок на каторге когда-то кончается... я взываю к вашему сердцу и вашей порядочности»), звоня кому-нибудь поздно вечером, произносил и без торжественности: «мертвые звонят по ночам» — но ни послания, ни декларация уже ничего не могли испарить, все было тихо, поезд ушел.

Однажды, спустя десятилетия, я увидела его сидящим в углу, опирающимся на свою палицу. Странно! Он мало изменился. Пожалуй, стало еще серее насушенное волчье лицо, еще мрачнее и отрешенней смотрели совершенно пустые, действительно мертвые глаза. А вскоре и сам он оставил мир, в котором столько зла совершил.

Кто его помнит? Кто о нем слышал? Вдруг появился хромой недотык, принял человека обильнее, покуралесил и похозяйничал, отменно воплотил свое время, которое не случайно востребовало эту жестокую мелюзгу, и — словно земля под ним разошлась — пропал, провалился в какую-то дырку, исчез, как не жил на белом свете.

Но все это — через много лет. Сейчас же на дворе его время, его соловьиный пор. Уже настает сорок девятый — год, от которого столько я жду — уже январь на Петровском бульваре, январь гуляет по всей Москве. Ему оставалось всего три дня, когда вышла знаменитая «Правда», и в ней счастливый советский народ прочел замечательный документ о некоей антипатриотической группе, состоявшей из театральных критиков. Началась «борьба с космополитизмом».

Собрания происходили обычно в нынешнем ресторанном зале. Свободных мест никогда в нем не было. Все стояло, расставленные полукругом спереди, потом образовывавшие ряды, доходящие до задней стены, все лестничные ступеньки, все ложи, повисшие над маленьким залом, были заняты — сколько, однако, писателей беспрепятственных выразителей истины! Воздух был грозным, удручившим, спертым, люди опасливо жались друг к другу, тесно сбываясь в стайки и кучки. У всех были напряженные лица с естественными полуулыбками, изображавшими то любовь, то нагнанное спокойствие, то уверенность в собственной защищенности. По мере того, как ре-

себе свой партбилет и умер. Насколько я знаю — одновременно.

Они из моих молодых приятелей, младше меня тридцатью годами, когда я рассказывал об этом судилище, буркнул: «И все ему — поделом. Он то получил, за что боролся».

Если взглянуть на эту судьбу с вершин исторической справедливости, мой собеседник не ошибается. Но есть и большая память души — она не оперирует множествами и не отделяется общим вердиктом. Стоит мне воскресить в ней Альтмана, снова увидеть перед собой голый череп в громадных каплях пота, его затравленные глаза, расширенные от смертной тоски, от ужаса, от недоумения, и мудрая мысль о высшей правде заслуженного им наказания куда-то стремительно пропадает.

Тема возмездия не случайно тревожила и Блока и Зоценко. Этим неуловимым словом оба поместили свое творчество. Первый назвал им свою поэму, другой — точно так же — свою повесть. Оба отвечали в наше сознание неотвратимо грядущей ответственности. Первый писал, ощущая тревогу, в состоянии ож и д а н и я, второй — уже через двадцать лет — как бы с позиции победителя. Однако же все победы непременны. В наше время канонизаторы, обожествляя казенный монарх, а триумфаторы, революция рассматриваются как кровавые волки. Таких среди них было сверх меры, но были и те, кто был возмущен сановным чванством, исправным судом, бессмысленным самоуправством власти, озлоблен поисками fraternalité, не говоря уж об egalité, и тем более, liberé. И о них пишут, как об авантюристах и хищниках, в идеальном случае, как о приручках.

Этого опасный круговорот. Сначала за чьи-то прегрешения — и безупречно и сочиненные — платит Блок с его испукательной жаждой, потом, когда палачи и жертвы меняются своими местами, платит Зоценко, «олимпийским своим опустошительным несомком», платит Альтман и все ему подобные своими детьми: «своей свободой». Сегодня есть новые победители, не замечающие победенных, которые в душевных подвалах копят свою потребность в о з м е д и я. Конца и края не видно безумию этой обреченной войны.

Помню, как с одного из собраний я возвращался с белоголовым, едва выходящим стариком, мягким, тишащим, добросердечным, давно умиротворенным, гонимым — лет ему было крепко за восемьдесят. Это был Васов-Ворхоняев, известный не столько своими книгами, сколько тем, что в самом начале века входил в Боевую Организацию эсеров — с Калевым и Сазоновым. Что думал он нынче о старых товарищах? О том, за что они отдали жизнь, отняв ее перед тем у других?

Никогда так не расцветают ничтожества, как в пору проработок, прополок, вслечных разгромных кампаний. Люди, одаренные богом, за очень небольшим исключением, не могут существовать вне морали, им трудно совсем ее игнорировать. Но бездарь, превосходящий обходится без всяких нравственных тормозов. Так часто мне приводилось видеть, как, раздувая от нетерпения жалко трещащие ноздри, она расправляла тощие крылышки. Всего забавнее было то, что эти кастраты и импотенты всерьез считали себя идеологами.

А впрочем, ничего удивительного. То, что началось с идеи, всегда кончалось идеологией. Не будет большим преувеличением сказать, что всякой идеологии свойствен жандармский раж. Поиски истины, споры философов, определявшие — и нередко! — высокий удел титанов духа, становятся с течением времени «идеологической борьбой». И надо сказать, что эта борьба для очень многих моих современников была на редкость удобной возможностью безбедного существования. С раннего часа в стольких домах стучали пишущие машинки — омывшись душем и плотно позавтракав, борцы бросались к своим столам. В уютных кабинетах, на дачах, в специально отведенных домах, за белоснежную чистоту Коммунистической идеологии боролся эти отчаянные люди. Веселые, выбитые, пухлякские, они с удовольствием оглядывались на пройденный ими борцовский путь — кто скажет, что они плохо боролись? Это они уничтожали и уничтожили столько писателей, артистов, музыкантов, ученых. Это они заткнули во рту и Бавлова и Сабинина, это они сжали со света Булгакова, Пастернака и Гроссмана. С теплой улыбкой они потакивали плечи и крупы раздвинувших жен — они хорошо, властью поборолись. С утра звывались их телефоны — нетерпеливые заказчики все призывали не успокаиваться, не прятать перьев, бороться, бороться. Они и боролись, сил не щадя, не жалел ни времени, ни бумаги. И было достойно восхищения, что при такой беспремерной занятости они никогда, никогда не опаздывали к окошкам касс получать гонорары за героическую борьбу.

С детства мне крепко бивали в голову — нет ничего святей коллектива. Футбол укреплял в мое чувство общности: не будет команды — не будет игры. Однако в эту московскую зиму я усомнился в привычной формуле. Коллектив великолепно способствовал избавлению от персональной ответственности, он волшебным помогал человеку пережить свое нравственное падение. «Я, как все, народ неизменно прав». Впервые, боясь себя признать, я ошутил всю ложь отречения от собственной сущности, всю усурьбеность растворения своей личности в стае. За долгие годы я не выдал ничего отвратительнее толпы, послушного следования за пастырем, гипнотизирующим недоумком. «Я счастлив, что я этой силы чужда» — я вспоминал слова Маяковского с болью и с чувством стыда за поэта. Пройдет полтора десятка лет и мой Печерский в «Друзьях и Годах» лишь горестно разведет руками: «Прощается какой-то странный инстинкт. Все словно возбуждают друг друга...»

Людей, подвергавшихся этим гонениям, попереч-

торые он писал, были не только ортодоксальными, но и фанатички истовыми. И вижу старятые глаза, готовые вылезти из орбит — он ничего не понимает.

Голов: Была жена в редакции? Альтман: Была.

Был сын? — Был и сын.

Рев: Все понятно. Вон с трибуны! Альтман: Дае минуты! Я прошу две минуты... Наконец, зал недолго стихает, Альтман с усилием глотает воздух, глаза в красных прожилках мучаются, перекатываются в глазницах. Голос срывается, слова не приходят, он точно выталкивает их в бреду.

— Жена должна была ехать в Чистополье... С друзьями женами писателей... Но ведь она — старый член партии... Она стала проситься на фронт... Наставляла... Ну что с ней делать? Сорок шесть лет, кандидат наук... Все-таки, пожилая женщина. Поэтому, и ее взял в редакцию. Какое еще ей найти применение?.. Она работала там неплохо... даже получила награды... Возможно, ей надо было поехать вместе с другими... женами... в Чистополье. Возможно... Она не захотела... Я взял ее в редакцию. Верно.

Он снова с трудом вбирает воздух в пылающее пересохшее горло.

— Теперь — мой сын... Когда война началась, ему было только пятнадцать лет. Конечно, он тут же сбежал на фронт. Его вернули. Он снова сбежал. Опять вернули. Опять он пытался. Он сказал: папа, я все равно уберу. И я понял — он убежит. Что делать — так уж он был воспитан. Тогда я и взял его в редакцию. Просто другого выхода не было. И вот, в возрасте пятнадцати лет, четырех месяцев, исполнив задание, мой сын был убит. Мой служивец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика... вместе со мной...

Альтман смолкает. Его глаза горят нездоровым горячечным пламенем. И кажется, что он сходит с ума.

Четыреста пятидесяти лет неудобрительно воспринимаю эту попытку оправдаться. Кто-то возмущал плечами, кто-то улыбался криво. Поднимается великодушный Софронов.

— Вы видите, товарищи, этот человек органически не способен быть искренним. Он изворачивается и вылетает. Он продолжает обманывать партию. Петляет, заматает следы. Ворочает о заслугах и жертвах, как будто другие собой не жертвовали и не теряли своих родных. Если бы в нем еще осталась хотя бы только капля партийности, он должен был бы как коммунист дать политическую оценку своему позорному поведению. Рассказать, например, как он бегал с листом собирать деньги еврейскому театру, который дал течь от отсутствия зрителей. Но уж какой он коммунист...

Альтмана исключили из партии. Позднее его арестовали. Из лагеря он пришел инвалидом, вернул



Леонид Зорин

себе свой партбилет и умер. Насколько я знаю — одновременно.

Они из моих молодых приятелей, младше меня тридцатью годами, когда я рассказывал об этом судилище, буркнул: «И все ему — поделом. Он то получил, за что боролся».

Если взглянуть на эту судьбу с вершин исторической справедливости, мой собеседник не ошибается. Но есть и большая память души — она не оперирует множествами и не отделяется общим вердиктом.

Стоит мне воскресить в ней Альтмана, снова увидеть перед собой голый череп в громадных каплях пота, его затравленные глаза, расширенные от смертной тоски, от ужаса, от недоумения, и мудрая мысль о высшей правде заслуженного им наказания куда-то стремительно пропадает.

Тема возмездия не случайно тревожила и Блока и Зоценко. Этим неуловимым словом оба поместили свое творчество. Первый назвал им свою поэму, другой — точно так же — свою повесть.

Оба отвечали в наше сознание неотвратимо грядущей ответственности. Первый писал, ощущая тревогу, в состоянии ож и д а н и я, второй — уже через двадцать лет — как бы с позиции победителя.

Однако же все победы непременны. В наше время канонизаторы, обожествляя казенный монарх, а триумфаторы, революция рассматриваются как кровавые волки. Таких среди них было сверх меры, но были и те, кто был возмущен сановным чванством, исправным судом, бессмысленным самоуправством власти, озлоблен поисками fraternalité, не говоря уж об egalité, и тем более, liberé.

И о них пишут, как об авантюристах и хищниках, в идеальном случае, как о приручках. Это опасный круговорот. Сначала за чьи-то прегрешения — и безупречно и сочиненные — платит Блок с его испукательной жаждой, потом, когда палачи и жертвы меняются своими местами, платит Зоценко, «олимпийским своим опустошительным несомком», платит Альтман и все ему подобные своими детьми: «своей свободой».

Сегодня есть новые победители, не замечающие победенных, которые в душевных подвалах копят свою потребность в о з м е д и я. Конца и края не видно безумию этой обреченной войны.

Помню, как с одного из собраний я возвращался с белоголовым, едва выходящим стариком, мягким, тишащим, добросердечным, давно умиротворенным, гонимым — лет ему было крепко за восемьдесят. Это был Васов-Ворхоняев, известный не столько своими книгами, сколько тем, что в самом начале века входил в Боевую Организацию эсеров — с Калевым и Сазоновым.

Что думал он нынче о старых товарищах? О том, за что они отдали жизнь, отняв ее перед тем у других? Никогда так не расцветают ничтожества, как в пору проработок, прополок, вслечных разгромных кампаний. Люди, одаренные богом, за очень небольшим исключением, не могут существовать вне морали, им трудно совсем ее игнорировать. Но бездарь, превосходящий обходится без всяких нравственных тормозов. Так часто мне приводилось видеть, как, раздувая от нетерпения жалко трещащие ноздри, она расправляла тощие крылышки. Всего забавнее было то, что эти кастраты и импотенты всерьез считали себя идеологами.

А впрочем, ничего удивительного. То, что началось с идеи, всегда кончалось идеологией. Не будет большим преувеличением сказать, что всякой идеологии свойствен жандармский раж. Поиски истины, споры философов, определявшие — и нередко! — высокий удел титанов духа, становятся с течением времени «идеологической борьбой».

И надо сказать, что эта борьба для очень многих моих современников была на редкость удобной возможностью безбедного существования. С раннего часа в стольких домах стучали пишущие машинки — омывшись душем и плотно позавтракав, борцы бросались к своим столам. В уютных кабинетах, на дачах, в специально отведенных домах, за белоснежную чистоту Коммунистической идеологии боролся эти отчаянные люди. Веселые, выбитые, пухлякские, они с удовольствием оглядывались на пройденный ими борцовский путь — кто скажет, что они плохо боролись? Это они уничтожали и уничтожили столько писателей, артистов, музыкантов, ученых. Это они заткнули во рту и Бавлова и Сабинина, это они сжали со света Булгакова, Пастернака и Гроссмана. С теплой улыбкой они потакивали плечи и крупы раздвинувших жен — они хорошо, властью поборолись. С утра звывались их телефоны — нетерпеливые заказчики все призывали не успокаиваться, не прятать перьев, бороться, бороться. Они и боролись, сил не щадя, не жалел ни времени, ни бумаги. И было достойно восхищения, что при такой беспремерной занятости они никогда, никогда не опаздывали к окошкам касс получать гонорары за героическую борьбу.

С детства мне крепко бивали в голову — нет ничего святей коллектива. Футбол укреплял в мое чувство общности: не будет команды — не будет игры. Однако в эту московскую зиму я усомнился в привычной формуле. Коллектив великолепно способствовал избавлению от персональной ответственности, он волшебным помогал человеку пережить свое нравственное падение. «Я, как все, народ неизменно прав». Впервые, боясь себя признать, я ошутил всю ложь отречения от собственной сущности, всю усурьбеность растворения своей личности в стае. За долгие годы я не выдал ничего отвратительнее толпы, послушного следования за пастырем, гипнотизирующим недоумком. «Я счастлив, что я этой силы чужда» — я вспоминал слова Маяковского с болью и с чувством стыда за поэта. Пройдет полтора десятка лет и мой Печерский в «Друзьях и Годах» лишь горестно разведет руками: «Прощается какой-то странный инстинкт. Все словно возбуждают друг друга...»

Людей, подвергавшихся этим гонениям, попереч-

себе свой партбилет и умер. Насколько я знаю — одновременно.

Они из моих молодых приятелей, младше меня тридцатью годами, когда я рассказывал об этом судилище, буркнул: «И все ему — поделом. Он то получил, за что боролся».

Если взглянуть на эту судьбу с вершин исторической справедливости, мой собеседник не ошибается. Но есть и большая память души — она не оперирует множествами и не отделяется общим вердиктом.

Стоит мне воскресить в ней Альтмана, снова увидеть перед собой голый череп в громадных каплях пота, его затравленные глаза, расширенные от смертной тоски, от ужаса, от недоумения, и мудрая мысль о высшей правде заслуженного им наказания куда-то стремительно пропадает.

Тема возмездия не случайно тревожила и Блока и Зоценко. Этим неуловимым словом оба поместили свое творчество. Первый назвал им свою поэму, другой — точно так же — свою повесть.

Оба отвечали в наше сознание неотвратимо грядущей ответственности. Первый писал, ощущая тревогу, в состоянии ож и д а н и я, второй — уже через двадцать лет — как бы с позиции победителя.

Однако же все победы непременны. В наше время канонизаторы, обожествляя казенный монарх, а триумфаторы, революция рассматриваются как кровавые волки. Таких среди них было сверх меры, но были и те, кто был возмущен сановным чванством, исправным судом, бессмысленным самоуправством власти, озлоблен поисками fraternalité, не говоря уж об egalité, и тем более, liberé.

И о них пишут, как об авантюристах и хищниках, в идеальном случае, как о приручках. Это опасный круговорот. Сначала за чьи-то прегрешения — и безупречно и сочиненные — платит Блок с его испукательной жаждой, потом, когда палачи и жертвы меняются своими местами, платит Зоценко, «олимпийским своим опустошительным несомком», платит Альтман и все ему подобные своими детьми: «своей свободой».

Сегодня есть новые победители, не замечающие победенных, которые в душевных подвалах копят свою потребность в о з м е д и я. Конца и края не видно безумию этой обреченной войны.

Помню, как с одного из собраний я возвращался с белоголовым, едва выходящим стариком, мягким, тишащим, добросердечным, давно умиротворенным, гонимым — лет ему было крепко за восемьдесят. Это был Васов-Ворхоняев, известный не столько своими книгами, сколько тем, что в самом начале века входил в Боевую Организацию эсеров — с Калевым и Сазоновым.

Что думал он нынче о старых товарищах? О том, за что они отдали жизнь, отняв ее перед тем у других? Никогда так не расцветают ничтожества, как в пору проработок, прополок, вслечных разгромных кампаний. Люди, одаренные богом, за очень небольшим исключением, не могут существовать вне морали, им трудно совсем ее игнорировать. Но бездарь, превосходящий обходится без всяких нравственных тормозов. Так часто мне приводилось видеть, как, раздувая от нетерпения жалко трещащие ноздри, она расправляла тощие крылышки. Всего забавнее было то, что эти кастраты и импотенты всерьез считали себя идеологами.

А впрочем, ничего удивительного. То, что началось с идеи, всегда кончалось идеологией. Не будет большим преувеличением сказать, что всякой идеологии свойствен жандармский раж. Поиски истины, споры философов, определявшие — и нередко! — высокий удел титанов духа, становятся с течением времени «идеологической борьбой».

И надо сказать, что эта борьба для очень многих моих современников была на редкость удобной возможностью безбедного существования. С раннего часа в стольких домах стучали пишущие машинки — омывшись душем и плотно позавтракав, борцы бросались к своим столам. В уютных кабинетах, на дачах, в специально отведенных домах, за белоснежную чистоту Коммунистической идеологии боролся эти отчаянные люди. Веселые, выбитые, пухлякские, они с удовольствием оглядывались на пройденный ими борцовский путь — кто скажет, что они плохо боролись? Это они уничтожали и уничтожили столько писателей, артистов, музыкантов, ученых. Это они заткнули во рту и Бавлова и Сабинина, это они сжали со света Булгакова, Пастернака и Гроссмана. С теплой улыбкой они потакивали плечи и крупы раздвинувших жен — они хорошо, властью поборолись. С утра звывались их телефоны — нетерпеливые заказчики все призывали не успокаиваться, не прятать перьев, бороться, бороться. Они и боролись, сил не щадя, не жалел ни времени, ни бумаги. И было достойно восхищения, что при такой беспремерной занятости они никогда, никогда не опаздывали к окошкам касс получать гонорары за героическую борьбу.

С детства мне крепко бивали в голову — нет ничего святей коллектива. Футбол укреплял в мое чувство общности: не будет команды — не будет игры. Однако в эту московскую зиму я усомнился в привычной формуле. Коллектив великолепно способствовал избавлению от персональной ответственности, он волшебным помогал человеку пережить свое нравственное падение. «Я, как все, народ неизменно прав». Впервые, боясь себя признать, я ошутил всю ложь отречения от собственной сущности, всю усурьбеность растворения своей личности в стае. За долгие годы я не выдал ничего отвратительнее толпы, послушного следования за пастырем, гипнотизирующим недоумком. «Я счастлив, что я этой силы чужда» — я вспоминал слова Маяковского с болью и с чувством стыда за поэта. Пройдет полтора десятка лет и мой Печерский в «Друзьях и Годах» лишь горестно разведет руками: «Прощается какой-то странный инстинкт. Все словно возбуждают друг друга...»

людей, подвергавшихся этим гонениям, попереч-

себе свой партбилет и умер. Насколько я знаю — одновременно.

Они из моих молодых приятелей, младше меня тридцатью годами, когда я рассказывал об этом судилище, буркнул: «И все ему — поделом. Он то получил, за что боролся».

Если взглянуть на эту судьбу с вершин исторической справедливости, мой собеседник не ошибается. Но есть и большая память души — она не оперирует множествами и не отделяется общим вердиктом.

Стоит мне воскресить в ней Альтмана, снова увидеть перед собой голый череп в громадных каплях пота, его затравленные глаза, расширенные от смертной тоски, от ужаса, от недоумения, и мудрая мысль о высшей правде заслуженного им наказания куда-то стремительно пропадает.

Тема возмездия не случайно тревожила и Блока и Зоценко. Этим неуловимым словом оба поместили свое творчество. Первый назвал им свою поэму, другой — точно так же — свою повесть.

Оба отвечали в наше сознание неотвратимо грядущей ответственности. Первый писал, ощущая тревогу, в состоянии ож и д а н и я, второй — уже через двадцать лет — как бы с позиции победителя.

Однако же все победы непременны. В наше время канонизаторы, обожествляя казенный монарх, а триумфаторы, революция рассматриваются как кровавые волки. Таких среди них было сверх меры, но были и те, кто был возмущен сановным чванством, исправным судом, бессмысленным самоуправством власти, озлоблен поисками fraternalité, не говоря уж об egalité, и тем более, liberé.

И о них пишут, как об авантюристах и хищниках, в идеальном случае, как о приручках. Это опасный круговорот. Сначала за чьи-то прегрешения — и безупречно и сочиненные — платит Блок с его испукательной жаждой, потом, когда палачи и жертвы меняются своими местами, платит Зоценко, «олимпийским своим опустошительным несомком», платит Альтман и все ему подобные своими детьми: «своей свободой».

Сегодня есть новые победители, не замечающие победенных, которые в душевных подвалах копят свою потребность в о з м е д и я. Конца и края не видно безумию этой обреченной войны.

Помню, как с одного из собраний я возвращался с белоголовым, едва выходящим стариком, мягким, тишащим, добросердечным, давно умиротворенным, гонимым — лет ему было крепко за восемьдесят. Это был Васов-Ворхоняев, известный не столько своими книгами, сколько тем, что в самом начале века входил в Боевую Организацию эсеров — с Калевым и Сазоновым.

Что думал он нынче о старых товарищах? О том, за что они отдали жизнь, отняв ее перед тем у других? Никогда так не расцветают ничтожества, как в пору проработок, прополок, вслечных разгромных кампаний. Люди, одаренные богом, за очень небольшим исключением, не могут существовать вне морали, им трудно совсем ее игнорировать. Но бездарь, превосходящий обходится без всяких нравственных тормозов. Так часто мне приводилось видеть, как, раздувая от нетерпения жалко трещащие ноздри, она расправляла тощие крылышки. Всего забавнее было то, что эти кастраты и импотенты всерьез считали себя идеологами.

А впрочем, ничего удивительного. То, что началось с идеи, всегда кончалось идеологией. Не будет большим преувеличением сказать, что всякой идеологии свойствен жандармский раж. Поиски истины, споры философов, определявшие — и нередко! — высокий удел титанов духа, становятся с течением времени «идеологической борьбой».

И надо сказать, что эта борьба для очень многих моих современников была на редкость удобной возможностью безбедного существования. С раннего часа в стольких домах стучали пишущие машинки — омывшись душем и плотно позавтракав, борцы бросались к своим столам. В уютных кабинетах, на дачах, в специально отведенных домах, за белоснежную чистоту Коммунистической идеологии боролся эти отчаянные люди. Веселые, выбитые, пухлякские, они с удовольствием оглядывались на пройденный ими борцовский путь — кто скажет, что они плохо боролись? Это они уничтожали и уничтожили столько писателей, артистов, музыкантов, ученых. Это они заткнули во рту и Бавлова и Сабинина, это они сжали со света Булгакова, Пастернака и Гроссмана. С теплой улыбкой они потакивали плечи и крупы раздвинувших жен — они хорошо, властью поборолись. С утра звывались их телефоны — нетерпеливые заказчики все призывали не успокаиваться, не прятать перьев, бороться, бороться. Они и боролись, сил не щадя, не жалел ни времени, ни бумаги. И было достойно восхищения, что при такой беспремерной занятости они никогда, никогда не опаздывали к окошкам касс получать гонорары за героическую борьбу.

С детства мне крепко бивали в голову — нет ничего святей коллектива. Футбол укреплял в мое чувство общности: не будет команды — не будет игры. Однако в эту московскую зиму я усомнился в привычной формуле. Коллектив великолепно способствовал избавлению от персональной ответственности, он волшебным помогал человеку пережить свое нравственное падение. «Я, как все, народ неизменно прав». Впервые, боясь себя признать, я ошутил всю ложь отречения от собственной сущности, всю усурьбеность растворения своей личности в стае. За долгие годы я не выдал ничего отвратительнее толпы, послушного следования за пастырем, гипнотизирующим недоумком. «Я счастлив, что я этой силы чужда» — я вспоминал слова Маяковского с болью и с чувством стыда за поэта. Пройдет полтора десятка лет и мой Печерский в «Друзьях и Годах» лишь горестно разведет руками: «Прощается какой-то странный инстинкт. Все словно возбуждают друг друга...»

Людей, подвергавшихся этим гонениям, попереч-

себе свой партбилет и умер. Насколько я знаю — одновременно.

Они из моих молодых приятелей, младше меня тридцатью годами, когда я рассказывал об этом судилище, буркнул: «И все ему — поделом. Он то получил, за что боролся».

3.11.94

Зорин Леонид

Начало в Москве

народ... завтра проснется. И тогда он стряхнет с себя блудливых радикальствующих ин-теллигентов, как собаку блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и полчишек, что из них только сок брызнет во все стороны. А Европе он просто-напросто скажет: тубо, старая...!»

Невозможно отделаться от наваждения, что это написано Александром Ивановичем не в самом начале двадцатого века, а только сегодня, когда столетие доживает свои последние дни.

Ни тысячелетняя проказа, ни Катастрофа, ни дело врачей, ни стыд ползучей дискриминации, растянувшейся на десятки лет, не дали людям иммунной силы. В замечательной книге Борщаговского «Обвиняется кровь» есть одна гипотеза — она в том, что трагедия евреев была в их отказе от ассимиляции, в этом упорном сопротивлении. Пожалуй, единственная мысль в этом превосходном исследовании, которая представляется спорной. Люди, далекие от Библии, не знавшие ни единого слова не только на древнем своем языке, но и на современном жаргоне, не слишком держались за первородство. Но если не все евреи отказывались от идеи ассимиляции, то все их преследователи не желали, чтобы они ассимилировались. Подлинные, а иной раз придуманные, еврейские фамилии в скобках, сопровождавшие псевдонимы, свидетельствовали: никто не хочет этих неожиданных родственников. Чтобы не дать им стать полноправными, а стало быть, конкурентоспособными, им нужно напомнить происхождение, сразу же тщательно ограничить жесткой этнической второсортностью.

«Нет ни эллина, ни иудея»... Это напутствие стало дежурным, стало бессильной расхожей цитатой — для надобности, для подходящего случая. На деле, не церковь ли, ныне и присно, любвеобильная наша смиренница, надвое разрывала единое — Ветхий Завет и Новый Завет, по сути своей, нерасторжимых, как мать и дочь, как душа и сердце, как вся европейская цивилизация, которую все нормальные люди зовут иудеохристианской. Но говорить о том стало смешно. Сейчас, когда я пишу эти строки, в царственном городе Санкт-Петербурге серебряновласый митрополит благословляет охотнорядцев.

Есть притча — у старика-еврея спросили: вам бывает ли больно? И он ответил: Когда я смеюсь.

Но погоди, мой друг, погоди — тебе еще надо прожить полвека, чтобы увидеть, что прав Эйнштейн, что ничего не переменялось, и тень все тут же идет по следу.

После февральских университетов в незабываемом сорок девятом, я понял с беспощадной отчетливостью — Иосиф Сталин и его шайка слепили, соорудили, создали жалкое и грязное общество. Мы можем быть разными людьми — трусливыми, стойкими, добрыми, злыми, бездарными и даровитыми — однако все вместе мы представляем ошеломительную попойку. Что делать мне? И как уцелеть?

Прежде всего, приложив усилия, я скрылся в Малеевке, в Доме Творчества. Там была старосельская тишина. Робкое мартовское солнце, словно примериваясь к работе, вскапывало в снежном насте проталины. То и дело в Малеевку приезжали печально нахолившиеся люди, на пепельных озабоченных лицах была отчетливо отпечатана — а потому без усилий читалась — мечта советского человека: «ах, умереть бы в своей постели!»

Но был среди них и Виктор Шкловский, герой многочисленных легенд, а, в сущности, человек-легенда. Я знал и слышал о нем так много, с таким интересом, еще в Баку, ловил его рубленую строку, по-детски радуясь поворотам и неожиданным сопоставлениям. И вот он, вживе, рядом со мной, я слушал его и смотрел на него, возможно, даже бесцеремонно.

В тот март он не очень-то соответствовал своей устоявшейся репутации забияки и скандалиста. В стильные дни, когда мы кружили вдоль нехотя тающих сугробов, он был медлителен и негромок — и думы его были не с нами и — можно только вообразить — как надоели ему все те же литературные разговоры. И спорить тоже давно надоело — он уже знал, что споры бесплодны. Тем более, когда его мысль всегда обгоняла предмет дискуссии. Да и ждали от него парадоксов.

Нет ничего тяжелее и несноснее роли блестящего человека. И пусть ему был дарован природой свой — необычный угол зрения, но, право же, нелегко жить на свете, если нельзя сказать очевидного. Он заметил однажды, что люди, как правило, уделяют внимание лишь раритетам, между тем, углубившись в давно им знакомое, они могут рассчитывать на открытия. Новатор как бы отстаивал право на обращение к общеизвестному. Позднее, в один из своих юбилеев, он обаятельно признался: «Я не умею создавать, зато я умею обнаруживать». Сказано с резкостью и откровенностью действительно крупного человека.

Однажды собрались за столом, достали вишневою настойку и упросили его «повитийствовать». Начал он вяло, потом разошелся. Сказал о том, что не зря Маяковский назвал себя тринадцатым апостолом. Здесь не было мании величия, ни тем более фанфаронства — только глубокое осознание миссионерской роли литературы. Поэты, если они поэты, не выбирают своей судьбы, судьба их выбирает сама. Слова о писателе-миссионере звучали в тот день нездешней песней, залетевшей из потустороннего мира — писателю и литературе было указано их место, не подлежащее обсуждению. И мысль о том, что поэт невластен над выбором собственного пути мне тоже показалась натяжкой — я плохо верил в предопределенность — нечто, похожее на шаманство. Однако позднее мне пришлось убедиться, что, сплошь и рядом, люди искусства действуют вопреки рассудку. Пусть даже они отлично знают, как следует поступить разумно — их власть над собственным дарованием всегда имеет свои пределы. Тем меньшую, чем дарование больше.

По всем приметам, зимняя буря, дойдя до пика, пошла на спад. То было обманчивое ощущение — просто безумие перестало быть потрясением и сенсацией, вошло в повседневность и стало будничным. Дивно устроенный человек начал — еще того не поняв — приспосабливаться к новой реальности, начал уже привыкать в ней барахтаться. В этом ему помогал его опыт тридцатилетней советской жизни. Жизнь эта была иллюзорной, бесправной, безумной, террористической, она не стоила ни гроша, она каждодневно плясала над бездной, но это и была твоя жизнь, другая была тебе недоступна и, стало быть, ты должен был жить по правилам сумасшедшего дома. И люди жили, общались, влюблялись, рожали детей, дожидались внуков, и абсолютному большинству казалось, что это нормальная жизнь.